

НАША СТРАНА

Год издания — 38-ой. Буэнос Айрес, суббота 17 мая 1986

"NUESTRO PAIS"

Buenos Aires, sábado 17 de mayo de 1986 No. 1868

Е. ВАГИН

О монархизме Николая Гумилева

Николай Гумилев, столетие со дня рождения которого исполнилось 15 апреля — единственный русский поэт, до сих пор "не реабилитированный" советской властью. Для эмигрантского сознания, возможно, это факт отрадный и утешительный. Но подумаем о русских людях, живущих на родине, о молодых поколениях, которое бредит величием императорской России, которое жаждет высокого идеализма и религиозного горения. Ведь это для них, прежде всего — яркая, зажигающая, вдохновляющая поэзия Н. Гумилева, но они-то и лишены ее...

Давно уже ввели в советский календарь В. Брюсова и "разрешили" Вяч. Иванова, совершили канонизацию А. Блока, "простили" А. Ахматову и уступили натиску неистовых ревнителей О. Мандельштама. Но продолжает оставаться под фактическим запретом ученик первых двух поэтов, равносильный соперник равносильного автора "Двенадцати", сподвижник и мэтр двух последних выдающихся представителей русской поэзии 20 века. Причину этого мне в свое время, в Мордовских лагерях, разъяснил московский чекист-интеллектуал, специально приезжавший для "беседы" с интеллектуалами "антисоветчиками". Я спросил его, когда же будут издавать в СССР Н. Гумилева (тогда только что вышел том Стихотворений О. Мандельштама). Он ответил коротко: "Никогда. В нашей литературе нет места монархистам".

Все в Советском Союзе знают, что Н. Гумилев был расстрелян, как участник монархического заговора — об этом сообщается в энциклопедических справочниках; но этим и исчерпывается в большинстве случаев знание о большом русском поэте.

Но, в сущности, все значительные русские поэты и писатели — начиная с Ломоносова, или Пушкина были монархистами. "Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы" — свидетельствовал Гоголь в "Выбранных местах из переписки с друзьями". К сожалению, этот монархизм далеко не всегда находил прямое отражение в художественном творчестве. Нелегко было бы собрать антологию "монархических мотивов" в русской литературе, которая — по словам В. Розанова — "как-то пряталась от солнечного света", стесняясь (или боялась?) слагать *открытую хвалу* Царю (Пушкин). При "неспособности к любви, привязанности, доверию, обожанию" — не может быть никакой монархии; но это и есть "нормальные монархические чувства" — писал В. Розанов. Как известно, иные мотивы доминировали в нашей словесности, увы...

Поэзия, все творчество Н. Гумилева — яркое исключение на общем,

"принципиально сером" фоне русской литературы. Вся она — солнечный свет, гимн любви и обожания, — даже если к ее мажорным тонам очень рано прибавляются ноты трагические, каких-то зловещих предчувствий.

Н. Гумилев вообще "выпадает" из русской интеллигенции. Ему совершенно чужды родовые признаки этого двусмысленного "ордена" (определение Г. Федотова): вечная игра в оппозицию, словесное революционерство — то бишь демагогия, позитивизм, антинационализм и отступничество не только от Церкви, но и от религии вообще. Созвучны его миропереживанию слова Розанова: "в России "быть в оппозиции" — значит любить и уважать Государя, быть "бунтовщиком" в России — значит пойти и отстоять обедню". Мемуаристы (Ходасевич, например) неодобрительно отмечают, что Гумилев — крестился на православные купола. Но не только крестился, — воспевал в своей поэзии:

Верной твердыню Православья
Врезан Исакий в вышине...

Первый, и, кажется, единственный из всех российских литераторов (которых уже тогда было — пруд пруди) пошел Н. Гумилев добровольцем на фронт при начале Первой Мировой войны, где ему

Святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

И, конечно, сам факт участия Н. Гумилева в монархическом заговоре — что стоило ему жизни — говорит о многом, органически "вписываясь" в его судьбу.

О монархизме поэта его современники, оставившие свои воспоминания, говорят как-то неохотно, сквозь зубы, как бы "прощая" ему этот странный каприз. О "заговоре явно несерьезном" пишет Вл. Вейдле. "Несерьезный" — заговор Таганцева, по которому было расстреляно 62 человека! В. Ходасевич, рассказывая подробно о последней встрече с Гумилевым — перед самым его арестом — ограничивается фразой: "мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о Государыне Александре Федоровне и Великих Княжнах". Содержание этого рассказа мы так никогда и не узнаем. "Оправдывает" монархизм Гумилева поэт Н. Оцуп: дескать, это не было "мракобесием" "Союза Русского Народа"; "он любил в самодержавии идею монархии дантовской (?!), всемирной..."

Кажется, всех превзошел Георгий Иванов, посмертно записавший в "друзья" Н. Гумилева, и "на правах друга" максималенко искаживший образ поэта и человека. Он хочет убе-

дить читателей, будто "по-настоящему" Гумилева интересовала только и исключительно поэзия. "В Африке ему было жарко и скучно, на войне мучительно мерзко, в пользу заговора, из-за которого он погиб, он верил очень мало". Увы, живые собаки, дожившие до шелудивой старости, нередко изображают в своих "воспоминаниях" погибших львов по своему мерзкому подобию. И вот, вопреки тому Гумилеву, который встает со страниц его книг, — читаем: "От природы робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе (!) быть охотником на львов, солдатом, награжденным двумя Георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархии..."

Эта низкая клевета опровергается всем строем поэзии Гумилева, самим стилем его жизни. Неправда, в нем не было типично интеллигентской расслабленности и дряблости; была — воля — которой не может отрицать и Г. Иванов, был яркий талант. Вместе они и создали неповторимый образ *поэта-героя*, пылко преданного не туманно-расплывчатому, заимствованному идеалам, но ясно сознаваемому национально-религиозным ценностям. Поэта-воина, который

Возревновал о славе Отчей
И на небесах, и на земле.

Н. Гумилев умел передать в своих стихах "вечно девственную свежесть мира", воспевал самоценность каждого явления жизни и его "материальную прелесть", красоту явлений жизни, "живущих во времени, а не только в вечности или мгновении". При начале своего литературного пути он, что называется, "отдал дань декадентским мотивам, — но душа его осталась незатраженной этим тлением, осталась здоровой. Это нравственное здоровье ощущается в некоторой наивности его поэзии, наивности неискренности, целомудрия. Вот программное требование поэта Н. Гумилева: "от всякого отношения к чему-либо, к людям ли, к вещам или мыслям мы требуем прежде всего, чтобы оно было целомудренным".

Основанная Н. Гумилевым новая поэтическая школа — *акмеизм*, будучи реакцией на туманы и абстракции символизма, представляла собой, в сущности, *новый реализм*. Но это был реализм не традиционный, — без позитивистской, материалистической полккладки и без социальной демагогии. "Мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь" — так определял сам Н. Гумилев сущность нового поэтического направления, в котором, при желании, можно увидеть *эстетическую проекцию типично монархического миропереживания*.

Эту поэзию определяет мужское,

солнечное, активно-динамическое начало; в ней доминирует героическое настроение; для нее характерна спокойная уверенность, отсутствие невзросов. Высокий пафос поэзии Н. Гумилева не имеет ничего общего с хрестоматийным "гражданским идеализмом" российской интеллигенции — не случайное отсутствие у него "социальных мотивов".

Часто говорят об индивидуализме Гумилева — но он далеко отстоит от того дешевого нищезнания, которое было в моде в начале века. Скорее это персонализм, а не болезненно-эгоистический индивидуализм, самоутверждение за счет других. В отличие от "империалистов" типа Р. Киплинга, Н. Гумилев не только совершенно чужд расизма — у него нет и намека на унижение достоинства личности по признаку цвета кожи, происхождения, религии. Лучшее сказание об этом он сам: "*Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге*". Любовь к Византии, к цветущей сложности далеких культур роднит Гумилева с К. Леонтьевым.

Жена Н. Гумилева, А. Ахматова, утверждала в конце своей долгой жизни: "Его еще никто не прочел. Помешались на детских "Капитанах", и дальше ни шагу. А он был — провидец".

Безусловно, это так. Прекрасными остаются "Капитаны" — с их восторженно-юношеским, бессмертным энтузиазмом. Но в зрелых стихах Н. Гумилева — особенно в последних сборниках, "Костер" и "Огненный столп" — есть трагическое предощущение того "пост-христианского общества", о котором сегодня говорят уже открыто, и которого он принимать не хотел. Эти мистические мотивы, углубленные сознанием безисходности надвигающегося ужаса, имела ввиду Ахматова.

Н. Гумилев — прежде всего Поэт. Ибо, по его словам, "пламенно творческий подвиг своей жизни есть поэт, повествование о подлинно пройденном мистическом пути есть поэзия..." Из своей жизни он сделал прекрасную поэму, но сама его поэзия, в то же время, есть отражение его высокого подвига жизни.

Он прекрасно сказал о различии между "литературой" и "вдохновением", которое было для него (как "музыка" для Верлена) синонимом Поэзии: "Литература законна, прекрасна, как конституционное государство, но вдохновение — это самодержец, обаятельный тем, что его живая душа выше стальных законов".

Таким самодержцем в русской поэзии 20 века остается Николай Гумилев. В его бессмертных стихах "мерно бьется" — "золотое сердце России".

Е. ВАГИН

ЛЮДМИЛА КЕЛЕР

Раскроем скобки

"ОБЪЕКТИВНАЯ" БИОГРАФИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА *

Это самая подробная биография Солженицына, большая 1000 страниц. Казалось бы, в настоящее время надо было благодарить даже за простое упоминание нашего великого писателя — его замалчивают и притом совершенно сознательно — не говоря уже о таком солидном томе. Сам писатель любит оставаться в тени, и иностранная пресса рада-радехонька "забыть" о нем. Человек он оказался неудобный, несговорчивый, негибкий и никак не укладывающийся на прокрустово ложе западного "либерализма".

Голые факты биографии, вероятно, переданы точно. Но общая установка, освещение, отношение к писателю — осторожно, недоверчиво, ищущее к чему бы придаться. Есть, впрочем, и некоторые неточности; так, например, говоря о выборах 1917 года, автор утверждает, что это были "первые и последние совершенно свободные выборы за всю историю России" (стр. 31). Однако, он забывает упомянуть о том, что выборы были частными, так сказать местного характера и совершенно не охватывали всей страны.

О матери писателя говорится, что она была "возможно, за исключением Романа (Щербака, брата) наименее религиозным членом семьи" (39). Тут, во-первых, следовало хотя бы оговориться в какой именно период. Из высказываний писателя о более позднем времени совершенно ясно, что он получил дома (от матери) воспитание в православном духе. Отход матери писателя от религиозных устоев несмотря на традиционную религиозность семьи приписывается ее пребыванию в "прогрессивном" пансионе в Ростове. Дальше автор высказывает предположение, что последний удар вере был нанесен пребыванием на курсах в Москве, когда она "охотно следовала за господствующим направлением атеизма и антиклерикализма" (39). Но так ли уж сильно было влияние этих "господствующих тенденций" на, может быть, наивную, провинциальную девушку, но без сомнения неглупую и стойкую натуру (как это выяснилось в будущем).

Упомянув о сопротивлении белых на Кавказе, Скаммел приписывает их поражение тому обстоятельству, что "все население царского режима" были налицо в занятых ими областях и при том даже "в увеличенном виде". Деникин и остальные генералы не сочувствовали "демократическим реформам" февральской революции (и правильно делали! Л. К.), а командиры были так же жестоки, как и красные. Тут даже нет ссылки (обычно Скаммел приводит источники) и все это является обезьяньим повторением того, что утверждают советские "историки" и свидетельствуют только о продолжающемся упорном невежестве Запада.

Поступление Солженицына в пионеры (в 12-летнем возрасте) преподносится как "решительный шаг" последнего (74). Конечно, ни слова не говорится о том, что в пионеры часто записывались под давлением, и дальше — ничтоже сумняшеся — преподносится миф, бытующий на Западе, но без сомнения сфабрикованный

на Востоке, о том что пионеры это "своего рода эквивалент бойскаутов" (64). Между тем, это политическая и милитаристическая организация, с самого раннего детства калечащая души русских детей. Сам же автор, приводя эпизод из "В кругу первом" о чекисте Ройтмане, который вспоминает свои школьные годы и обвинение в антисемитизме Олега Рожественского, признает, что "исключения из пионеров, возможно, привести к исключению из школы" (65).

Говоря о строителе театра в Ростове, Скаммел ухитряется исковеркать его фамилию в "Щуко" — совершенно невозможное явление в русском (да, на самом деле, и украинском) языке. На самом деле это, конечно, известный архитектор Шусев (79).

Четвертая глава называется "Писатель и коммунист". Это относится к периоду пребывания в школе и, вероятно, только с очень большой натяжкой Солженицына подростка можно охарактеризовать как писателя, не говоря уже о коммунизме.

В дальнейшем довольно неожиданно выясняется, что Солженицын отнюдь не был поклонником Петра Первого: он, оказывается, "традиционалист", хотя и марксист (104). Скаммел объясняет эту "глубокую антипатию" к Петру, прогрессу и т. д., влиянием его глубоко религиозной тетки Ирины. Но как все это может сочетаться с марксизмом?

Очень любопытно, что Солженицын сидел на Лубянке в одной камере с неким Виктором Алексеевичем Беловым, который считал себя "императором Михаилом Романовым". Весь этот эпизод доказывает непрекращающуюся тоску русского народа по законному Государю. (164-65).

Конечно, Скаммел не упускает случая сравнить теперешнее положение с прошлым. Он утверждает, например, что деление — без суда — особым Отделением — старая традиция в России (176). При этом, он ссылается на седьмую главу первой части "ГУЛАга", где Солженицын приводит несколько фактов таких

осужденных из прошлого России. Но писатель добавляет (сказав о ссылке Новикова Екатериной Второй): "И все императоры по-отечески нет-нет да и высылали неудобных им без суда". И дальше: "Таким образом традиция практически тянулась, но была она слишком расхлябанная, пригодная для азиатской страны дремлющей, но не прыгающей вперед. И потом эта обезличка: кто же был ОСО? То государь, то губернатор, то товарищ министра. И потом, простите, это не размах, если можно перечислить имена и случаи". Вот в этом-то и вся суть: были единичные случаи, да и то "по-отечески", то есть можно предполагать, что суд-то никак западная привычка все уродства советской действительности возводит к царскому времени и выводит их из русского прошлого...

Говоря о пребывании Солженицына в Бутырской тюрьме и встрече с Борисом Гаммеловым, который Скаммел говорит об "открытом атеизме" писателя. На самом деле, Солженицын, описывая этот эпизод во второй части (глава четвертая) ГУЛАга говорит совсем другое: "...уверенность моя (в тюрьмах) уже шатнулась", а, во-вторых, истым атеистом он никогда и не был, это ясно из "чистого чувства", которое жило в нем, несмотря на "убеждения". Да и убеждения-то были навязаны...

Скаммел беспрерывно старается представить Солженицына как убежденного коммуниста. Можно предполагать, что в ранней юности увлечение идеями и то не коммунизма, а скорее ленинизма. Молодому человеку естественно увлекаться чем-то, искать какой-то идеал, а тут со всех сторон

навязывают идеальный образ Ильича. Уставать может только образ человека, которому окружающие приоткрыли завесу лжи (опасное предприятие в Советском Союзе) или человек начисто лишенный идеализма молодости. В подкрепление своего утверждения о мнимом коммунизме Солженицына, Скаммел ссылается на роман "В кругу первом". Но в романе Глеб Нержин колеблется между Рубиным (коммунист) и Сологдиным (антикоммунизм, патриотизм, вера). В результате, Глеб спорит и с тем, и с другим, но в конце концов склоняется скорее к взглядам Сологдина. Кажется, нужно также принять во внимание "духовные странствия" Иннокентия (через запись своей матери и через своего дядю) новый для него мир, дореволюционный. Кстати, не является ли мать писателя прототипом матери Иннокентия? Если так, то совершенно ошибочно писать о ней, как потерпевшей веру, в Москве на кураж. Вероятнее всего, она в этот период отошла от Церкви, но не от веры вообще. Скаммел, однако, слишком сближает взгляды Глеба Нержина с Рубиным (231-32) в то время как в романе Глеб не только спорит с ним, но и во многом расходится.

Тут, кстати, упомянуть и об отношении Солженицына к Толстому, с которым его, обычно, сближают (особенно на Западе). Выясняется, что Солженицын довольно критически воспринимал "Войну и мир", о чем свидетельствуют его замечания на полях романа, особенно об языке Толстого: "Плохо"; "неуклюже"; "галлицизм" и т. д. Некоторые из этих замечаний казались Льву Копелеву (прототип Рубина) "прямо-таки богохульными", на что Солженицын высказывался в том духе, что язык Толстого "устарел".

Зато, находясь в шарашке, он вновь открыл Достоевского (249). В интервью с Скаммелом он сказал: "Я начал, постепенно, возвращаться к моим старым истинным взглядам детства. Читая Достоевского, я... начал медленно двигаться к позиции, которая была, во первых, идеалистической, то есть к убеждению в примате духовного над материальным, и, во-вторых, религиозной и патристической".

Из поэтов он читал в шарашке Пушкина, Гумилева, Пастернака, Симонова, а говоря о переводах Копелевым Багрицкого, сказал: "Мне нужны русские стихи о России". (Гумилев, возможно, оказал воздействие на его собственную поэзию, судя по Прусским ночам). Да и стихи периода "ГУЛАга" (часть 4, глава 1, например) свидетельствуют о том же:

Да когда же я так допуста, дочиста
Все развеял из зерен благих?
Ведь провела же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!

Скаммел утверждает, что "ссылка — не новость" в России. Он говорит, что до революции будто бы четверть миллиона постоянно находилось в ссылке. Статистика, вероятно, навеяна советскими специалистами по этому делу. Кимми специалистами по этой средней цифре ссыльных бы, например, 30-е годы... Но об этом советские статистики молчат. Упомянув о ссылке целых племен, практиковавшейся при Сталине, (тут, однако, он не ссы-

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДПИСКИ

Подписка на "Нашу Страну" возобновляется автоматически через уплату таковой по адресу редакции, указанному на последней странице газеты, за исключением тех случаев, когда подписка оплачивается через представителей газеты. Редакция не высылает своим подписчикам накладных (фактур) за подписку, но во всех случаях посылает расписку за каждую уплату. В расписке всегда указывается до какого номера газеты уплачено. Подписка на один год в Аргентине, в настоящее время, равняется 15,60 австралий, а в США 41,60 долларов. Подписка в других валютах указана также на последней странице, как и цены за объявления.

Редакция "Нашей Страны" убедительно просит всех подписчиков, имеющих в настоящее время какую-нибудь задолженность, погасить таковую — по возможности в кратчайший срок.

Если какой-нибудь подписчик не знает до какого номера газеты он заплатил, он может прямо послать какую-нибудь круглую сумму в соответствующей валюте, или подписку, скажем, за год. В расписке, которая ему будет выслана, сразу после получения от него чека или "монеи ордера", как всегда будет указано за какой номер и до какого номера он уплатил.

ПРОПАЖА ЧЕКОВ

В последнее время было установлено, что в некоторых случаях пропали чеки, высланные почтой из других стран в Аргентину, по адресу "Нашей Страны". Так как редакция газеты всегда высылает расписку, после каждого получения чеков или "монеи ордера" и если какой-нибудь подписчик таковой не получил в течение трех-четырех недель после отсылки чека или "монеи ордера", можно предположить, что чек не дошел. В таком случае, рекомендуется сообщить об этом в редакцию.

*) Michael Scammel. SOLZHENITSYN. A Biography. W. W. Norton & Co, New York, London, 1984, pp. 1051.

ляется на пример царских времен), Скаммел неожиданно упоминает какое-то таинственное племя "мешкетицев". Откуда он почерпнул сведения о нем, остается неизвестным.

Согласно Скаммелю, даже в ссылке в Кок-Терее, Солженицын все еще сочувствует ленинзму (324). Думаю, что после "образования", приобретенного им в тюрьмах и лагерях это едва ли вероятно.

Будучи в Ташкенте, Солженицын не преминул "зайти в церковь (в 1954 году) и возблагодарить Бога за выздоровление" (339). Он считал свое выздоровление чудом и оно таковым и было действительно.

Согласно Скаммелю, Солженицын не женится после выхода из лагеря (в течение трех лет) из-за своих рукописей. В интервью писатель сказал: "Три года я не женился, чтобы сохранить мои рукописи..." (346).

В Кок-Терее Солженицын написал "Республику труда"; в первый раз после лагерей он пишет без того, чтобы заучивать наизусть и уничтожать то, что он написал. И этим он счастлив" (347).

Панин (Сологдин в Круге первом) якобы написал Солженицыну письмо в 1959 году о том, что одна вещь недостаточна и что Солженицын хочет быть христианином, он должен подчиниться Церкви... И автор комментирует: "Кажется, Солженицын не был готов к такому подчинению". Может быть, это и к лучшему, потому что говоря о подчинении Церкви, какую, собственно, Церковь имел Панин в виду? Как известно, он теперь "подчиняется" Католической Церкви... (374).

Говоря о Цезаре Марковиче ("Один день Ивана Денисовича") Скаммел ухитряется величать его просто "Марковичем", считая, вероятно, что именно так обращаются друг к другу истинные русские (а, может быть он читает "Маркович" как фамилию?).

Иногда читателя книги берет оторопь: да читал ли этот ученый и дотошный муж вообще Солженицына? Так, о Матрене он пишет (393), что она не получала пенсии, потому, что она "полуграмотная", она не может справиться с анкетами (это мудрено даже и для вполне грамотных людей, заметь она не получает потому, что все трудовые записывались на ее пропавшего мужа (вот вам и женская эмасипация!)).

Он также отмечает, что Матрена не выведена как верующая (кроме посещения церкви по праздникам); но вся жизнь и существование этой женщины настолько проникнуты христианским миоровоззрением, что это не надо было специально подчеркивать. Она — продукт дореволюционного христианского воспитания и все ее взгляды так или иначе восходят к христианской морали. А последняя фраза — "не стоит село без праведника" (которая была названием рассказа в первоначальном виде, измененного по настоянию осторожного Твардовского), не столько поговорка, как библейская реминисценция, восходящая к спору Авраама с Богом (Книга Бытия, 18, 23).

Скаммел обвиняет Солженицына в том, что он пытался создать впечатление (особенно в "Бодать теленок с дубом"), что "Один день Ивана Денисовича" появился в полной пустоте (410-11). Для опровержения этого, Скаммел упоминает произведения, которые или написаны позже (например, в 1956 году), или такие, которые стали известны очень ограниченному кругу читателей. Скаммел признает, что Солженицын упоминает В. Шаламова (которого он читал до 1956 года). Но ничего подобного

"Одному дню" не появилось в печати и Солженицыну, действительно, принадлежит пальма первенства.

"Славное море, священный Байкал" называется "советской" песней (428).

По случаю поездки Солженицына в Ясную Поляну, вновь подчеркивается его любовь к Толстому и даже высказывается догадка, что он, может быть, думал уже о посещении Саней Лаженицыным Толстого (в "Августе 1914"). При этом совершенно упускается из виду, что Саня Лаженица романе полемизирует с Толстым... (478).

Оказывается, Копелев критиковал Солженицына за описание ("В круге первом") жизни таких кругов общества, которые писатель не знал и не видел своими глазами (500-501); Копелев также утверждал, что повествование об этом неправдоподобно.

Нельзя отказать в критическом чутье Твардовского, который не только высоко оценил "В круге первом", но и утверждал, что повествовательная сила Солженицына восходит к Достоевскому (504).

Доходит дело и до Зильберберга. Солженицын был совершенно прав, упрекая Теуша в небрежности по отношению к его архиву (535 и далее). Солженицын не говорит, что он не был знаком с Зильбербергом, "едва знаком" (538).

Упомянув о суде над Синявским и Даниелем, Скаммел высказывает предположение, что Солженицын завышал их известности (539). Если бы Солженицын был так честолюбив, он мог бы действовать за границей, особенно живя уже за границей.

В сноске на странице 456 Скаммел высказывает предположение, что Солженицын предложил некоторые свои рассказы (в том числе "Правую кисть", "Захар-Калита", "Как жаль") "архи-консервативным" журналам "Москва", "Огонек" и "Литературная Россия"; это расценивается как усиление националистических тенденций писателя, (наряду с этим утверждается, что "Новый мир" был будто бы интернациональным).

Надо сказать, что Скаммел часто ссылается на данные, полученные им от Натальи Решетовской, первой жены писателя. Всякому ясно, что к та-

ким данным надо было бы подходить очень осторожно и проверять по возможности по более непредвзятым источникам. Но, между прочим, Скаммел все-таки отмечает (455), что Решетовская очень наслаждалась успехом Солженицына, в то время как он сам был к нему довольно равнодушен.

Упомянув тот факт, что Солженицын написал Вл. Солоухину письмо после появления "Писем из русского музея" (в 1966 году), Скаммел в итоге пишет, что это произведение "об эскизах и собирании икон и о сохранении русских церквей" (не путает ли он эту книгу с "Черными досками" того же писателя?) (584).

Опираясь на Решетовскую, Скаммел упрекает Солженицына в упрямстве и несгибаемости, которые привели к разрыву с Союзом Писателей, совершенно упуская из виду, что такой разрыв был неизбежен (609).

А вот типичный пример того, что автором вероятно считается "объективностью", но скорее смахивает на пресловутое "с одной стороны нельзя не признать, с другой же..." Описывается случай, когда Солженицын предположил выехать из Рязани в Москву (в конце декабря 1967 года) и даже пошел с этой целью на вокзал, но потом вернулся, так как поезд запаздывал и стояла длинная очередь, а билетов даже еще не начинали продавать (607). Ссылаясь опять-таки на ту же Решетовскую, Скаммел упрекает Солженицына в упрямстве и неуступчивости, называя случай с возвращением с вокзала "капризом и почти иррациональным поступком" (609). Несколькими страницами ниже он утверждает как раз обратное: "В его действиях была и скрытая логика" (611). Вновь противоречия много прежде, чем сказанному, Скаммел кончает эту главу утверждением, что хотя романы Солженицына читались только единицами в самиздате, они утвердили его славу как величайшего живущего русского писателя, тогда как "для тысяч, а, может быть, и миллионов его почитателей, которые не имели возможности прочитать эти произведения, это едва ли было существенно: сама его жизнь, его по-

ведение, его смелость и его пренебрежение стали символами сопротивления гнету и символом свободы для других (611).

Встретившись с Литвиновым и Богораз (в марте 1968 года) и убедившись, что их мечтательны и гонимы, ограничиваются сбрасыванием "Пражской весны", Солженицын отнесся к этому отрицательно, очень справедливо утверждая, что во главе этого движения в Чехословакии стояли коммунисты, а в Союзе таких в то время не было (619). После этого, он прислал Литвинову и Богораз страницу, где он приветствовал их сопротивление властям, прося их сжечь эту страницу. Впоследствии они узнали, что это была страница из главы "ГУЛага". В напечатанном тексте этого произведения, однако, страница с упоминанием Литвинова и Богораз отсутствует (620). Это лишнее свидетельство того, что за это время Солженицын окончательно разочаровался в диссидентах.

Говоря об отношениях с Сахаровым (после появления Меморандума последнего в 1968 году) Скаммел видит "намек на соперничество" со стороны Солженицына, не объясняя, почему, в чем это выразилось (639).

Обсуждая религиозный договор, Скаммел ухитряется договориться до того, что известная "Молитва" Солженицына (единственная, появившаяся в самиздате и за границей в печати) "не содержит ничего мистического и интимного" (641). Опять — как часто при чтении этой книги — создается впечатление, что автор или не читает впечатление, или страдает такой духовной глухотой, что его ничем не удовлетворишь. Это та "Молитва", которая начинается словами "Как легко мне жить с Тобой, Господи!".

Если верить Скаммелю, Солженицын вообще "не интересовался Церковью и Ее пастьрской деятельностью" (641). Помимо Панина, который давно упрекал Солженицына в гордости и нежелании подчиниться авторитету Церкви, и Решетовская утверждает, что Солженицын никогда не целовал рук священнослужителей, как это в результате православно-церковной церемонии делается, что его, повидимому, "не привлекали таинства Церкви". С такими свидетелями как Панин и Решетовская можно договориться и до того, что Солженицын вообще никогда не вернулся к вере. Хорошо во всяком случае, что он не пошел по стопам "верующего и подчиняющегося церковному авторитету" Панина...

Непосредственно за этим, Скаммел, однако, с удивлением отмечает, что, каким-то образом Солженицыну пришла мысль построить церковь, финансируя это своими зарубежными авторскими гонорарами. Церковь должна была быть посвящена св. Троице; был найден и архитектор, сделавший план, и построена предположительно в районе Звенигорода. Ходили слухи, что Солженицын вступил в сделку с правительством о получении заграничных денег, но конечно это были только слухи и разрешение на постройку по-видимому никогда не было дано (642).

Упомянув, что ошибки царского правительства, которые привели к революции, но тут же добавляется, согласно Солженицыну, что самая большая доля ответственности падает на интеллигенцию (666). К этому выводу Солженицын очевидно пришел благодаря знакомству с "Ведами".

Исключение из Союза Писателей в Рязани кажется постыдной комедией, о которой следует напомнить. Секретарь Рязанской организации,

Что происходит в Кремле?

Известный обозреватель Роман Днепров пишет следующее: "Американские эксперты по советским делам, почти хором провозгласившие с весны 1985 года тезис об исключительно прочном положении Горбачева, теперь выражаются на этот счет значительно более осторожно. Подтверждение этому я вижу в переносе визита Горбачева в Соединенные Штаты с июня этого года на сентябрь. Если встреча действительно будет отложена, то объясните это решение можно скорее всего нежеланием Горбачева в ближайшее время уезжать в свою очередь, что полным хозяйном страны развитого социализма ставропольский хлебороб Михаил Горбачев пока себя не чувствует". ("Русская мысль", 21-3-86 г.).

Из Москвы пришли новые анекдоты:

— Очередь за водкой — петля Горбачева.

— Ударим красным террором по белой горячке.

— На заколоченной пивнушке написано углем: Миша, ты не прав! ("Русская мысль", 28-3-86).

В "Н. С." № 1854 в разделе "Печать" уже приводилось опровержение якобы беспробудного пьянства в СССР: "Конечно, пьяниц, как таковых, очень и очень не много".

Известная правозащитница Мальва Ланда пишет из Москвы: "Руководители предприятий явно стремятся к максимальной эксплуатации своих рабочих. Начальник может без труда оклеветать (и репрессировать) своего подчиненного. В последнее время для этого легко использовать кампания по борьбе с пьянством и укреплению дисциплины". ("Русская мысль", 4-4-86).

Новое невероятное событие — Светлана Аллилуева 16 апреля вернулась в США. Ее дочь Ольга Питерс накануне этого выехала в Англию, где будет учиться в Кембридже. По заявлению Светланы в телефонном интервью с газетой "Вашингтон Пост", ей удалось уехать "благодаря личной помощи Горбачева, которому она написала в декабре 1985 года". Светлана заявила еще в СССР "люди стеснялись и боялись иметь с ней дело, а жизнь в Грузии оказалась гораздо более тяжелой и трудной, чем она ожидала". ("Русская мысль", 25-4-86).

Д. Р.

Эрнст Сафонов, был настолько потрясен этой перспективой, что слег в больницу на операцию слепой кишки; младшему поэту Евгению Маркову была обещана квартира; писатель Родин, лежащий больным в г. Касимове (за 120 миль от Рязани), был вытаскен буквально с больничной койки в Рязань. Секретарь идеологической секции партии в Рязани давал участникам последние указания лично, несчастного Сафопова он посетил в больнице, чтобы получить его голос — решение должно было быть единогласным. Сафонов сначала отказался, но потом должен был уступить.

Молчание Солженицына при разгроме "Нового мира" и отставки Твардовского Скаммел объясняет его расчетом, что после этого власти могут пропустить что-нибудь "смелое", чтобы показать, что журнал продолжает существовать (688). Этим смелым произведением, согласно Скаммелю, мог по мнению Солженицына стать "Август четырнадцатого", который "кроме одной главы, во многих отношениях был приемлем с советской точки зрения, особенно по сравнению с предыдущими произведениями Солженицына" (688). Все эти клеветнические домыслы ничем не подкреплены и совершенно не вяжутся с моральным обликом писателя. Вероятнее всего, его молчание объясняется скорее тем, что любое выступление с его стороны могло только повредить "Новому миру". Остается также совершенно непонятным, почему Скаммел считает "Август" более приемлемым для советской цензуры. Правда, в романе не изображается советская действительность с тюрьмами, лагерями и прочими реалистическими атрибутами, но зато изображается до-советская жизнь в очень привлекательном свете. Так ли уж это приемлемо для советской власти?

Наконец Скаммел — с большим опозданием — отмечает, что "в духовном и интеллектуальном отношении, он (Солженицын) во многом отошел от Толстого и приблизился к Достоевскому" (731). Хотя — несмотря на спор Сани Лаженицына с Толстым, он все еще считает влияние последнего на Солженицына значительным.

Потом Скаммел переходит к отношениям с Решетовской и, ссылаясь на ее слова, утверждает, что у нее была только одна встреча с КГБ (о "ГУЛАге"). При этом он совершенно упускает из виду, что дело с ней могли иметь не агенты в формах КГБ, а агенты из подсобных организаций, вроде агентства "Новости". Решетовская, конечно, об этом едва ли стала бы распространяться, но Солженицыну картина была совершенно ясна и у нас нет никаких оснований сомневаться в правильности его подозрений на этот счет (820). Доходит до того, что Решетовская называет Солженицына "фанатиком" и пытается его убедить, что ему нечего бояться. Решетовская, без сомнения, была подослана, может быть даже не вполне сознавая, кто ее направляет, а понимание Солженицыным действительности совсем не отдает "шизофренией"; скорее, это трезвая оценка положения (841).

Скаммел утверждает, что Солженицын ожидал высылки и встретил ее с облегчением. Если бы он так хотел покинуть пределы России, он мог этого достигнуть гораздо раньше и с гораздо большими удобствами, а именно, согласившись поехать в Шве-

цию для получения Нобелевской премии (841). На самолете Солженицын перекрестился и поклонился родной земле (что, вероятно, по теории Скаммеля, является лишним доказательством того, что он человек неверующий). Вспоминая о последующей полемике писателя с диссидентами об эмиграции, Скаммел вновь утверждает, что Солженицын покинул родину добровольно (845).

Скаммел также утверждает, что Солженицын в свое время маскировался под человека "левых убеждений" (848-49). На самом деле, читая между строк, давно уже было ясно, что его убеждения далеко не "левые". По мнению Скаммеля, кампания против Солженицына в Советском Союзе была успешна; по крайней мере он сочувственно ссылается на впечатление, вынесенное американским корреспондентом из разговора с людьми на улице: большинство из них приветствовало высылку писателя, а некоторые даже высказались в том духе, что Солженицына надо было судить как предателя. Интересно, говорил ли сей корреспондент через переводчика (большинство из которых являются агентами известного учреждения) или он объяснялся непосредственно с "народом". И в последнем случае не следует полагаться на такие высказывания: люди вообще рискуют, разговаривая с иностранцами, а где уж там высказывать крамольные мысли...

По этому поводу я могу сослаться на два совершенно противоположных высказывания. Первый случай произошел с моей бывшей студенткой, которая теперь сама уже преподает в одном маленьком колледже. Она ездила с группой своих студентов в Россию (кстати, она украинского происхождения и чисто говорит по-русски). Однажды в Москве она одна поехала на Новодевичье кладбище. Пока она ходила между могилами, разыскивая знакомые имена, к ней подошел какой-то человек и не говоря ни "здравствуйте", ни "откуда вы?", прямо спросил ее: "где Солженицын"? Она рассказала ему, что могла и он чуть не запылил от радости, что Солженицын работает и выступает. Другой случай произошел со студентом, который был в Москве на курсах. Там он познакомился с несколькими русскими студентами и, как он потом рассказывал, даже комсомольцы гордились Солженицыным и интересовались его жизнью за границей. О менее "активных" и говорить не приходится: они с жадностью ловят всякое известие о нем.

Отзываясь о "Письме вождям", Скаммел несколько удивленно констатирует, что Солженицын предпочитает сельскую жизнь, что он вообще довольно близок к деревенщикам (866-67). В прошлом государственный порядок зиждился на православии и Солженицын видит и сегодня "в христианстве единственную живую духовную силу, которая может привести к духовному исцелению России".

Нельзя не отметить, что консервативный республиканский сенатор Джесси Хелмс внес предложение сделать Солженицына почетным гражданином США, а также пригласить его приехать в Америку (876).

Солженицын делает различие между иностранной политикой США и людьми. При этом он верно отмечает симпатию русских людей к американцам (876).

Когда Наталию Светлову (вторую жену Солженицына) спросили, не нуждается ли она в помощниках (после того, как в Цюрихе корреспондент писателя приняла гигантские размеры) она ответила, что никто другой не может интерпретировать пожелания и требования ее мужа, кроме нее. И кроме того, писатель никому кроме нее не мог доверить свои личные и политические дела. Надо сказать, что верная помощница Солженицына в какой-то мере напоминает вторую жену Достоевского, Анну Григорьевну, которая создала Достоевскому такие условия, что конец своей жизни он прожил без материальных забот и в покое, чем и объясняется его неумолимое творчество до самой смерти. Таким женщинам надо было бы ставить памятники: без них, где была бы наша литература? Есть такие героини и в России, они сберегли литературное наследство своих мужей с риском для жизни и, когда условия позволили, издали что могли из этого наследства. К ним принадлежит и Наталия Светлова, которой дай Бог доброго здоровья на многие лета!

О книге Решетовской "В споре со временем". В "Новостях" ее так отредактировали (или даже переделали), что тон книги совершенно изменился: из объективного и дружественного, он стал враждебным (891). И можно только поражаться наивности автора, который не хочет понять, что все это — работа КГБ. Решетовская, между прочим, считает арест Солженицына законным, так как он был настроен "прогермански" и был контр-революционером, то есть изменником родины...

Игорь Шафаревич, говоря об эмиграции, высказался о Синявском в том духе, что последний правильно сделал, что эмигрировал, но Скаммел конечно на стороне "непонятого Синявского" (897).

Говоря о насильственных выдачах после конца Второй Мировой войны, Скаммел называет это "репатриацией эмигрантов первой и второй эмиграции" (899); Солженицын упрекал "демократии" в молчании по этим вопросам (937).

Солженицын правильно критиковал президента Форда за подписание Хельсинкского соглашения — теперь это ясно даже туповатым и слеповатым иностранцам (919).

Скаммел принужден признать, что Солженицын критически относится к Православной Церкви Америки (бывшей митрополии) за соглашение с Московской Патриархией (собственно с советским правительством); он приветствует неподчиняющуюся Москве Русскую Православную Церковь Заграницей.

Кстати, Скаммел упоминает о "Ленине в Цюрихе"; тут вспоминается известный советский анекдот о делегации, посетившей Цюрих. Члены ее нашли сапожника, у которого Ильич снимал помещение и стали его расспрашивать о последнем. Сапожник наконец вспомнил его, подтвердил, что действительно он здесь жил и прибавил: "А самое странное, что после его отъезда я ничего о нем не слышал".

Скаммел цитирует Суварина, который утверждал, что Солженицын "не понял характера Ленина" (944). Но что сказать о самом Суварине, который до конца отрицал, что Ленин получил деньги от немецкого правительства? Это теперь доказано, так

как соответственные документы попали в руки американских оккупационных властей после Второй Мировой войны.

Следуют инспирированные советскими агентами утверждения об антисемитизме Солженицына. Обвинения эти зиждутся в основном на том, что, хотя в "ГУЛАге" мало фотографий, но те которые помещены изображают самых отвратительных палачей еврейского происхождения (959). Кажется, это были единственные фотографии "начальников", которые можно было достать.

О нашумевшей Гарвардской речи Солженицына говорится, что она была встречена овациями (968). Однако, от человека, присутствовавшего в Гарварде на этом выступлении я знаю, что было много свистков и вообще было высказано недовольство.

Оказывается, что известный американский публицист (и теперь антикоммунист) Сидней Хук, согласен с диагнозом Солженицына о болезни Запада — слабости — но не согласен с тем, что болезнь эта происходит от перехода от Средних веков к Возрождению и веку Просвещения. (970).

Станным образом, когда Скаммел описывает день детей писателя в Вермонте, он упоминает, что все начинается с "длинной православной молитвы", а кончается молением об избавлении России от порабощения. (976). Выясняется, кроме того, что у Солженицына в Вермонте своя домовая церковь (992). Но по словам одного священника, знающего писателя, Солженицына якобы нельзя назвать набожным (992). Он не ездит в ближайшую церковь (в соседнем штате — Нью Хэмпшир), тогда как дети и другие члены семьи туда ездят; Солженицын якобы ожидает, что священник придет к нему. Вообще же Солженицын — деист и далек от таинства и жизни Церкви... (992). Все это говорится, несмотря на "Молитву", несмотря на желание построить церковь в районе Звенигорода, несмотря на религиозное воспитание детей. Интересно, принимает ли Скаммел участие в жизни Церкви и в таинствах ее, и знает ли он вообще что такое эти таинства?

Лучше всего закончить этот обзор словами поэта Полонского, точно рисующими деятельность и личность писателя:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена — стихия.

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена — свобода!

ЛЮДМИЛА КЕЛЕР

Розыски

Вячеслав Ефимович Лебедев
разыскивает
Костантина Шереметова из Зап.
Германии, эмигрировавшего в
1949 году.
Mr. W. LEBEDEV
2645 Old Cleveland Road
CHANDLER QLD 4155 Australia

"НАША СТРАНА". Русская монархическая еженедельная газета. Основана 18 сентября 1948 И. Л. Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. Редактирует: Ред. Коллегия. Адрес: М. Kireeff, Monroe 3578 — 11, 1430 Buenos Aires. Номер телефона М. Киреева: 89-0862. Статьи подписанные фамилией или инициалами не обязательно всегда выражают мнение редакции. Рукописи не возвращаются.

Цены за экземпляр газеты: Австралия - 0,80 ав. дол.; Германия - 1,80 н. м.; Франция - 5 фр.; Италия - 1100 лир; США - 0,80 ам. дол.; Аргентина - 0,30. В остальных странах — 0,80 ам. дол. Цена объявлений: за 1 см. в 1 колонку - стоимость 4 экземпляров газеты в соответствующей валюте. Чеки и "моней ордер" выписывать на имя Miguel Kireeff с местом уплаты в США или Европе.

"NASHA STRANA" — "NUESTRO PAIS". Semanario monarquico ruso. Fundado el 18 de septiembre de 1948. Registro Nacional de Propiedad Intelectual No. 949.917 Editor: M. Kireeff, Monroe 3578 — 11, 1430 Buenos Aires.

Correio ARGENTINO	Franqueo pagado. Conces.No. 4233
Sucursal 30 (B)	Interes general. Conces.No. 3980